

ЮЛИЯ ИСАКОВА

АНГЕЛ В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ

роман

18+

Юлия И.

Ангел в темной комнате

«Автор»

2026

И. Ю.

Ангел в темной комнате / Ю. И. — «Автор», 2026

«Мне два года было. Зима. Он меня в садик отвёл. И больше я его не видела». С этой фразы начинается история, которую психолог-консультант Юлия Исакова услышала в своём кабинете и получила разрешение рассказать. Ангелина родилась в 1984 году в уральском городке, в старом деревянном доме, где три комнаты из четырёх были тёмными. В два года её оставил отец. В семь на её руках оказался первый младенец — к пятнадцати их станет пятеро: два брата и три сестры, от трёх разных мужчин её матери. Восемь лет она встаёт в пять сорок, топит печь, стирает руками и делает уроки после одиннадцати. В шестнадцать у неё появляется мечта — и мать рвёт направление в медицинское училище на четыре части. В девятнадцать она уезжает в чужую страну, где дома розовые, а у людей нет фамилий. А в двадцать четыре попадает туда, откуда не выходят, — и выходит: своим умом, своим упрямством и сорока семью днями молчания, о которых расскажет только через двадцать лет.

© И. Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. ОТ АВТОРА	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	7
Глава 1. Начало. Февраль 1984-го	8
Глава 2. Дом с печью	11
Глава 3. Два года. Зима. Детский сад	14
Глава 4. Белое пальто	17
Глава 5. Мать у зеркала	21
Глава 6. Щёлка	24
Глава 7. Шесть лет. Крик за стеной	27
Глава 8. Девочка, которая хотела исчезнуть	31
Глава 9. Дядя Коля	34
Глава 10. Семь лет. Славик	37
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	41
Глава 11. Пелёнки и уроки	42
Глава 12. Оля	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Юлия И. Ангел в темной комнате

ЮЛИЯ ИСАКОВА
**АНГЕЛ
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ**
Роман

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
И85

Исакова Ю. В.

И85 Ангел в тёмной комнате : роман / Юлия Исакова. —
Москва, 2026. — 317, [3] с.

ISBN 978-5-00000-000-0

История женщины, родившейся в 1984 году: брошенный отец, пять младших на руках семилетней няньки, несбывшаяся мечта, чужая страна и сорок семь дней, о которых она молчала двадцать лет. Роман о том, как человек выходит из замкнутого круга — поздно, дорого и всё-таки сам.

Все имена, географические названия, даты и обстоятельства в этой книге изменены. Отдельные сюжетные линии собраны из нескольких историй. Любые совпадения с реальными людьми случайны.

Книга содержит описание насилия в семье, зависимости и торговли людьми. Не рекомендуется читателям младше 18 лет. 18+

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00000-000-0 © Исакова Ю. В., 2026

© Оформление. Исакова Ю. В., 2026

*Тем девочкам, которые стали матерями раньше,
чем научились завязывать инурки.*

ПРЕДИСЛОВИЕ. ОТ АВТОРА

Меня зовут Юлия Владимировна Исакова. Пять лет я работаю психологом-консультантом, и всё это время моя профессия состоит из одного простого действия: я сижу напротив человека и слушаю его до конца. Не до середины, где становится неловко. Не до места, где принято сказать «ну, у всех бывает». А до конца.

За пять лет через мой кабинет прошло, наверное, около шестисот человек. Я помню не всех. Память — вещь избирательная, она бережёт нас. Но есть три или четыре истории, которые я не забуду никогда, и одна из них однажды ночью подняла меня с постели, усадила за стол и не отпускала до утра.

Женщина, о которой я написала эту книгу, пришла ко мне весной. Ей было тридцать девять. Она села в кресло, аккуратно, как садятся люди, привыкшие никого не обременять, положила сумку на колени и сказала:

— Я не знаю, зачем я здесь. У меня всё хорошо.

Я ответила, что это отличное начало.

Она проговорила сорок минут о работе, о ремонте, о том, что надо бы наконец съездить к морю. А потом замолчала посреди фразы, посмотрела в окно и сказала:

— Мне два года было. Зима. Он меня в садик отвёл. И больше я его не видела.

И заплакала. Впервые за тридцать семь лет — по её собственным словам, — заплакала об этом вслух.

Мы работали с ней почти два года. То, что я слышала за это время, не помещается ни в один протокол и ни в одну методичку. Это была жизнь, в которой на одного человека пришлось столько, что хватило бы на пятерых: брошенность, нищета, чужие свадьбы матери и чужие разводы, пятеро младших детей на руках семилетней девочки, несбывшаяся мечта, чужая страна, чужой язык, руки, из которых нельзя вырваться, — и всё-таки она вырвалась. Она вырвалась не потому, что была сильнее других. Она вырвалась потому, что в самую страшную минуту её жизни у неё не осталось ничего, кроме собственного ума и собственного упрямства. Этого хватило.

Я спросила у неё разрешения написать. Она долго думала. Через полгода она сказала:

— Пишите. Только имена поменяйте. И ещё: не делайте из меня героиню. Я не героиня. Я просто не умела сдаваться, потому что меня никто этому не научил.

Я выполнила первое условие. Все имена, города, даты и подробности в этой книге изменены; отдельные линии собраны из нескольких историй, чтобы никого нельзя было узнать. Второе условие я нарушила. Простите меня, Ангелина.

Эта книга — не документ. Это роман. Но всё, что вы в нём прочтёте, с кем-то было.

Ю. В. Исакова

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДОМ, КОТОРЫЙ ОСТЫВАЕТ
1984–1991

Глава 1. Начало. Февраль 1984-го

Она родилась в четыре утра четырнадцатого февраля, в городе, где в феврале темнеет в четыре часа дня и рассветает в девять.

Город назывался так же, как речка, на которой стоял, и в нём жило двадцать шесть тысяч человек. Был комбинат, был завод «Прогресс», была автостанция, два книжных, кинотеатр «Мир» и больница, к которой с ноября по апрель не подъезжала ни одна машина, кроме «скорой», потому что улицу не чистили.

В роддоме третьи сутки не было горячей воды.

Санитарка тётя Валя грела её в ведре кипятивником и ругалась на весь коридор так, что было слышно в родильном зале, — на трубы, на главврача, на горисполком и отдельно на какого-то Петровича, которого никто не знал. Тамара Петровна Северцева, девятнадцати лет от роду, рожала под этот голос — под «да когда ж вы наконец трубы-то почините, ироды» — и думала об одном: только бы это кончилось.

Схватки шли одиннадцать часов.

На девятом акушерка — немолодая, спокойная, с золотым зубом — сказала ей:

— Ты не ори. Ты дыши. Орут те, кто силы девать некуда, а тебе они ещё понадобятся.

— Мне страшно.

— Всем страшно, — сказала акушерка. — Ты первородка?

— Да.

— Сколько тебе?

— Девятнадцать.

Акушерка что-то отметила в карте и больше вопросов не задавала.

Всё кончилось в четыре ноль семь.

— Девочка, — сказала акушерка. — Три двести. Пятьдесят один сантиметр. Красавица.

Тамара повернула голову к стене.

Она ждала мальчика. Не потому, что не любила девочек, а потому, что Виталий хотел мальчика, и всю беременность она повторяла себе как заклинание: будет мальчик — и тогда он останется.

Логика была совершенно детская. Но ей самой было девятнадцать, и она вышла замуж в восемнадцать, и мужу её было двадцать три, и они прожили вместе год и четыре месяца, из которых счастливыми были, наверное, первые пять.

Ребёнка obtёрли и положили ей на грудь.

Тамара посмотрела вниз.

У новорождённой были белые, почти прозрачные волосы, мокрые, прилипшие к темени. И серые глаза, которые в первую секунду были совершенно осмысленными — как это иногда бывает у новорождённых в первые минуты, пока взгляд не расплывается.

И Тамаре стало страшно.

— Чего она так смотрит? — спросила она.

— Как все смотрят.

— Нет, она как будто... — Тамара не нашла слова. — Она как будто уже всё знает.

— Ты к груди её возьми, — сказала акушерка. — Не бойся.

— Я не боюсь.

Она боялась.

Виталий Северцев приехал под окна роддома в тот же день, к вечеру.

Он стоял в снегу в белом драповом пальто — единственной дорогой вещи, которая у него была, купленной на первую зарплату в автоколонне в восемьдесят первом году. Пальто

было не по погоде и не по случаю, но другого у него не было, а в телогрейке идти к жене он считал неправильным.

Он задрал голову и закричал на весь двор:

— То-ма! Тома, ты слышишь?

В окнах третьего этажа началось шевеление. Женщины в палате оживились — это было главное развлечение: чей муж пришёл и как орёт.

— Северцева! — крикнула от окна женщина с соседней койки. — Твой!

Тамара встала, дошла до окна.

Стекло было в изморози. Она протёрла ладонью кружок и посмотрела вниз.

Он стоял внизу, маленький, чёрно-белый: белое пальто, чёрные волосы без шапки, и снег шёл крупный, медленный, ложился ему на плечи и на воротник.

— Кто? — крикнул он.

Она открыла форточку. Пахнуло морозом.

— Девка! — крикнула за неё соседка, потому что у Тамары не было сил кричать.

Виталий на секунду опустил голову.

Вот эту секунду Тамара Петровна помнила потом всю жизнь и пересказывала дважды: один раз своей матери в восемьдесят шестом и один раз своей дочери — в две тысячи четырнадцатом, сидя на полу в пустой кухне.

Он опустил голову, и было непонятно, что он чувствует.

А потом снова поднял лицо, и она увидела, что он улыбается.

— Как назовём? — крикнул он.

Она не готовила имени. У них были варианты на мальчика — Андрей и Сергей, — а на девочку они не придумали ничего, потому что оба были уверены.

Она открыла рот и услышала собственный голос:

— Ангелина!

— Как?!

— Ан-ге-ли-на!

Он засмеялся, широко, с паром изо рта.

— Ты что, с ума сошла? Её ж во дворе заключают!

— Пусть клюют, — сказала Тамара и закрыла форточку.

В палате наступила тишина.

— Ты чего это, Томка? — сказала соседка. — Правда, что ли, Ангелина?

— Правда.

— Господи. Ну и имечко. У нас в классе была Аэлита — так её Элькой звали всю жизнь.

— Пусть, — сказала Тамара и легла.

Так у девочки появилось имя, которое всю её жизнь было ей то велико, то мало и которое в конце концов, к тридцати девяти годам, оказалось впору.

Откуда оно взялось — Тамара Петровна не знала сама.

Она думала об этом много раз и один раз, много лет спустя, сказала дочери:

— Я, знаешь, потом сообразила. У нас на комбинате женщина работала, в бухгалтерии, старая уже. Её звали Ангелина Семёновна. И она была... как бы тебе сказать. Она одна там на всех орала и одна за всех заступалась. Её вся фабрика боялась и вся фабрика любила. Я, видно, про неё и вспомнила. Я ж тогда не думала, я сказала и сама испугалась.

Дома девочку звали Линой. Баба Шура — Гелей. Учителя — Северцевой. Во дворе, как и предсказывал отец, довольно быстро стали звать Гелькой, и это прижилось.

А мужчины, которые появлялись в её жизни потом, называли её по-разному, и ни одно из этих имён не осталось.

Выписали её через шесть дней, двадцатого февраля.

Виталий приехал на «Москвиче» дяди Гены, двоюродного брата, с букетом гвоздик, купленных у бабки на вокзале, и с бутылкой шампанского, которую забыл открыть и потом увёз обратно.

С ним приехала Александра Егоровна — мать Тамары, сорока девяти лет, в пуховом платке, с узлом в руках, в котором было приданое: три пелёнки, распашонки и одеяло, шитое ею самой.

Она первая взяла ребёнка у няни. Развернула угол одеяла, посмотрела и сказала — довольно громко, на весь вестибюль:

— Господи, белая какая.

— В кого это она? — спросил Виталий.

— В мою мать, — сказала Александра Егоровна. — Та тоже белая была, как лён. И характер такой же был — не приведи господь.

Она передала свёрток зятю.

И вот тут случилось то, что Ангелина Северцева знала о своём отце как первый из трёх бесспорных фактов.

Он взял её на руки — и не понял, что с ней делать.

Он держал свёрток на вытянутых руках, на весу, как держат что-то горячее или очень хрупкое, и на лице у него было выражение испуганное и счастливое одновременно.

Он подержал так, наверное, секунд десять.

Потом сказал тихо, так, что слышала только Тамара:

— Ну здравствуй.

И отдал обратно — потому что не знал, как держать, и боялся уронить.

Тётя Валя, санитарка, стоявшая тут же, засмеялась:

— Ты её к себе прижми, папаша! Она не бомба!

Все засмеялись.

И вот на этом фотограф, которого дядя Гена привёл за десятку, сделал единственный снимок: молодой мужчина в кепке — пальто он снял, потому что в вестибюле было жарко, — держит на руках младенца в конверте и смотрит в объектив с испуганной улыбкой человека, который не знает, куда девать руки.

Эта фотография потом одиннадцать лет пролежит в учебнике природоведения, между страницами про перелётных птиц, и будет потеряна в поезде Екатеринбург — Прага в октябре две тысячи третьего года.

Вот эти три вещи Ангелина Северцева знала о своём отце наверняка.

Не помнила — знала, со слов бабы Шуры, которая рассказывала ей это в темноте, сидя на краю кровати, лет до восьми, пока не поняла, что делает хуже.

Первое: он приехал за ней на «Москвиче» и держал её на вытянутых руках, потому что боялся уронить.

Второе: у него было белое пальто.

Третье: он ушёл зимой, у ворот детского сада, и больше она его не видела.

Всё остальное, что она о нём знала, она собрала сама — по крупичкам, за тридцать пять лет, как собирают разбитое: из чужих оговорок, из пьяных разговоров на поминках, из того, что однажды услышала через занавеску и не поняла, а поняла только лет через десять.

Это не так уж мало — три факта.

Многие не имеют и одного.

Глава 2. Дом с печью

Дом стоял на улице Заречной, восьмой от угла.

Старый, деревянный, вросший в землю по самые окна, с почерневшими венцами и с крышей, покрытой шифером поверх дранки. Его ставил ещё прадед, Егор Тимофеевич, в тридцать девятом году — своими руками, один, за одно лето и одну осень. Он же посадил у калитки две берёзы, которые к восемьдесят четвёртому году стали выше крыши и в ветреные ночи шумели так, что маленькой Лине казалось: по крыше кто-то ходит.

От калитки до крыльца было семь плиток, выложенных дедом Ефимом из битого шифера. Мимо них, если идти напрямую по земле, весной и осенью было не пройти — развозило до щиколотки.

Во дворе стояли: сарай с дровяником и столяркой; погреб с деревянной крышкой, которую поднимали за железное кольцо; будка, в которой при Лине уже никто не жил, потому что последняя собака, Полкан, умерла в восемьдесят втором; и уборная в дальнем углу, к которой зимой прокапывали траншею в снегу — узкую, в одну лопату, с отвесными стенами выше головы.

Воду брали на колонке. Двести метров туда, двести обратно, два ведра. Это станет отдельным пунктом её детства с десяти лет.

В доме было четыре комнаты, и три из них были тёмными.

Это надо объяснить, потому что иначе получится неверно.

Тёмными они были не потому, что там не было электричества. Электричество было: одна лампочка под потолком в каждой комнате, под жестяным абажуром, и выключатель — круглый, с поворотной ручкой, которая щёлкала, — на высоте, до которой ребёнок не дотягивался лет до пяти.

Тёмными они были по-другому.

Окна выходили на север и на запад: одно — в стену соседского сарая, стоявшую в двух метрах, другое — в заросли сирени, которую никто не подстригал с семьдесят шестого года. И даже в полдень в этих комнатах стоял серо-зелёный полумрак, в котором очертания вещей теряли края.

Комод переставал быть комодом.

Пальто на гвозде переставало быть пальто.

Ребёнок, который в этих комнатах вырос, до восьми лет был уверен, что вещи ночью меняются, и это была не фантазия, а честный вывод из наблюдений.

Светлой была только кухня.

Там стояла печь.

Печь была главным существом этого дома.

Не предметом — существом. У неё был характер.

Она не любила сырых дров: на сырых начинала стрелять и плевать угольками через поддувало. Она обижалась на сквозняк — если открывали одновременно дверь в сени и форточку, тяга переворачивалась и дым шёл в комнату. И по утрам, когда её растапливали после ночи, она минут десять дымила, будто откашливалась, и только потом начинала тянуть.

У неё был голос: сначала сухой быстрый треск бересты, потом гуденье, потом ровный низкий гул, который держался часами.

И у неё был запах, который Ангелина Северцева через сорок лет узнавала за сто метров и от которого у неё сразу теплели руки: запах горящей берёзы, смешанный с запахом печёной картошки, извёстки и старой золы.

Печь надо было топить.

Это была самая главная правда её детства, и в ней, как выяснилось потом, помещалась вся её будущая жизнь.

Тепло не появляется само.

Тепло надо носить охапками с улицы. Дрова надо колоть — это делал дед, а после его смерти нанимали Пирогова за бутылку. Их надо сушить, складывать в поленницу комлем наружу, заносить с вечера в сени, чтобы не отсырели, укладывать в топку — сначала береста, потом щепка, потом мелкие, потом крупные, — разжигать, следить, подкладывать. А ночью, часа в четыре, встать и подложить ещё, иначе к рассвету дом выстынет и на ведре с водой у порога будет ледяная корка толщиной в палец.

Баба Шура — Александра Егоровна — вставала в пять. Всегда. И в пятьдесят, и в семьдесят два.

Она была маленькая, сухая, с круглой спиной и с руками, которых Лина потом не встречала больше ни у кого: пальцы толстые в суставах, кожа коричневая, в трещинках, ногти плоские и крепкие, как роговые пластинки. Эти руки могли вынуть чугунок из печи без ухвата, если надо было быстро. Она брала его прямо так, за края, и ставила на стол, и только потом говорила «ох».

Дед Ефим вставал в шесть и шёл в сарай, где у него была столярка: верстак, тиски, банки с гвоздями, рубанки на полке по росту, от большого к малому. Он делал рамы, табуретки, оконные переплёты, кому-то что-то чинил, кому-то что-то строгал, и за это приносили — то мешок картошки, то деньги, то бутылку, которую он выставлял на полку и не открывал месяцами.

Он почти не разговаривал.

За всё своё детство Лина услышала от него, может быть, сотни две слов, и половина из них была «подай» и «отойди».

Но однажды, когда ей было пять, он молча выстругал ей лошадь на колёсиках. Из липы. Покрасил в белый остатками краски от рам, приладил четыре колеса из катушек от ниток и поставил ей под кровать.

Ничего не сказал.

Она нашла её утром сама.

Она приползла с ней на кухню и спросила:

— Деда, это мне?

Дед Ефим доедал кашу.

— Угу, — сказал он.

Эта лошадь переживёт всех. Через тридцать шесть лет её привезёт в больничную палату Славик — своему сыну.

Мать с отцом жили в дальней комнате, за фанерной перегородкой, оклеенной обоями.

Там стоял диван-книжка, трюмо с тремя створками и радиолы «Сакта», которую отец привёз из Риги в восемьдесят втором, — единственная в доме вещь, на которую приходили смотреть соседи.

Эту комнату Лина не помнила почти совсем.

Она помнила только отражение в трёх зеркалах сразу, от которого ей было не по себе: мама одна, а в трюмо их три, и все три смотрят в разные стороны.

Зимнее утро в этом доме выглядело так.

Пять часов. Темно. В доме минус — не на улице, а в доме: на кухне градусов десять, в тёмных комнатах градусов семь.

Баба Шура встаёт, накидывает на плечи кофту, идёт на кухню, разгребаёт вчерашние угли кочергой. Если повезло и жар сохранился — можно растопить с одной бересты. Если нет — нужна щепка и минут двадцать.

Гудит.

Через сорок минут на кухне становится тепло. Через час — жарко.

Вода в ведре оттаивает. Чайник свистит. Пахнет кашей.

И вот тогда, к семи, будят ребёнка — потому что раньше нельзя, раньше в комнате холодно.

Лина вылезала из-под двух одеял, бежала босиком по ледяному полу через сени на кухню и там влезала на табурет у печи, прижималась к белёному тёплому боку спиной и сидела так минут пять, пока не отпусало.

Это было лучшее ощущение её детства. Она помнила его всю жизнь и всю жизнь потом, в разных квартирах и разных странах, садилась спиной к батарее — и не понимала почему.

Ночью в доме было слышно всё.

Как ходит вода в трубе. Как скрипит крыльцо, когда остывает. Как спит дед — с присвистом на вдохе. Как в сарае возятся мыши. Как шумят берёзы.

И как в дальней комнате говорят на два голоса.

Сначала тихо. Потом тише. Потом один поднимается.

— Ты опять?

— Да что «опять», Тома, ну что ты начинаешь...

— От тебя же за версту.

— Ну выпили мы. По-человечески. С мужиками.

— С какими мужиками, Виталий? Какие мужики в час ночи?

— Тише ты, ребёнка разбудишь.

Ребёнок не спал.

Ребёнок лежал в тёмной комнате лицом к стене и водил пальцем по обоям. Обои были с выпуклым рисунком — ромбики, идущие по диагонали, — и если вести по ним пальцем, они чуть-чуть шершавились.

Она считала ромбики.

Один. Два. Три.

Дошла до девятнадцати — и всё стихло.

Значит, всё хорошо. Значит, можно спать.

Это был первый навык, который Ангелина Северцева освоила в жизни — раньше, чем научилась проситься на горшок, и гораздо раньше, чем научилась читать.

Она умела считать до тишины.

Много лет спустя, на одной из первых консультаций, Юлия Владимировна спросит её:

— Скажите, а с какого возраста вы себя помните?

И она ответит:

— С обоев.

Глава 3. Два года. Зима. Детский сад

Двадцать первое января тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Вторник.

Ей без трёх недель два.

Этот день она помнила.

Не рассказами — сама.

Всю жизнь потом ей говорили, что в два года ничего не помнят. Что это ложная память. Что она просто присвоила себе бабушкин рассказ и достроила остальное. За тридцать семь лет ей это сказали четыре раза: школьная учительница, к которой она однажды полезла с разговором в шестом классе; сокурсница на психфаке; преподаватель на лекции по возрастной психологии; и один коллега на конференции.

Трижды она соглашалась вслух и не соглашалась внутри. На четвёртый раз, в тридцать восемь лет, она сказала коллеге:

— Вы совершенно правы с точки зрения науки. А я вам скажу с точки зрения меня. В моей памяти нет сюжета. Сюжет мне действительно рассказали. В моей памяти есть снег в лицо — мокрый, крупный, залепляющий один глаз, так что я иду и вижу половину мира. Есть запах сырой шерсти от собственной варежки, привязанной к резинке, продёрнутой через рукава. Есть скрип, с которым открывалась зелёная калитка яслей, — двойной, как два вопроса подряд. И есть ощущение руки. Огромной. Тёплой изнутри и холодной сверху.

— Это может быть реконструкция, — сказал коллега.

— Может, — согласилась она. — Только реконструируют обычно то, что понимают. А двухлетний ребёнок не понимает, что его бросают. Он помнит варежку.

В то утро её повёл он.

Обычно водила мать. Отец в ясли не ходил ни разу — он уходил на работу в семь, а ясли открывались в половине восьмого.

А в тот вторник повёл он.

Лина запомнила это, потому что шаг у него был другой. Мать шла мелко и быстро. Отец шагал широко, и ей приходилось почти бежать, и она пару раз поскользнулась на утоптанном.

Он остановился.

— Не спеши, — сказал он. — Куда ты бежишь-то.

Он присел и подтянул ей шапку, которая сползла на глаза, и заправил под неё выбившиеся белые волосы.

Он наклонился близко, и она увидела его лицо очень крупно: щёку в красных пятнышках от мороза, щетину на подбородке, каплю на кончике носа, и что у него в левой брови есть шрамик — маленький, белый, безволосый.

Этот шрамик она потом искала у себя всю жизнь и не находила.

— Ух ты какая, — сказал он. — Глазищи.

— Папа, — сказала она.

Она знала около сорока слов, из них двенадцать говорила разборчиво.

— Папа, папа, — сказал он.

И они пошли дальше.

Была зима восемьдесят шестого года — снежная, с частыми метелями.

Улица Заречная шла под уклон к речке, дальше был мост, потом переулок, потом ясли. Идти было минут двенадцать взрослым шагом.

Они шли мимо забора Пироговых, за которым лаяла собака. Мимо угла, где стояла водо-разборная колонка, обледеневшая до состояния ледяного гриба. Мимо магазина, который ещё не открылся.

Возле магазина стояла женщина с санками и поздоровалась:

— Здравствуй, Виталий.

— Здравсьте, тетя Рай.

— Чего это ты сегодня с дитём?

— Да так, — сказал он. — Тома приболела.

Тамара не болела. Это Лина выяснила через много лет, когда впервые заговорила с матерью о том дне, — в две тысячи четырнадцатом, сидя на полу в пустой кухне.

— Он сам вызвался, — сказала тогда мать. — Первый раз за два года. Я ещё удивилась. Я подумала — может, помириться хочет.

Двор яслей.

Снег, утопанный в жёлтый лёд у крыльца. Деревянный грибок с облупленной шляпкой, под которым летом стояла песочница, а зимой намерзал сугроб. Чьи-то санки у забора. Чужие дети — двое или трое, в одинаковых синих шубках. Чей-то рёв откуда-то из-за двери.

Нянечка Зина в синем халате поверх кофты стояла на крыльце и курила в кулак.

И вот тут случилось то, чего быть не должно было и что осталось навсегда.

Он не довёл её до крыльца.

Он остановился у самой калитки — в семи, может быть, восьми метрах от двери, — присел на корточки и развернул её к себе за плечи.

— Ну, Гелька. Ты у меня молодец.

— Молодец, — повторила она.

Он помолчал.

— Ты только... — сказал он и не договорил.

Он поцеловал её в лоб — поверх шапки, потому что лоб был закрыт.

И встал.

— Зин! — крикнул он через двор. — Прими там!

— Да веди сюда, чего ты! — крикнула нянечка.

— Некогда мне!

И пошёл обратно к калитке.

Она не заплакала.

Вот этого она потом не могла себе простить лет до тридцати.

Она не заплакала, не побежала за ним, не вцепилась в полу пальто, не закричала. Ничего из того, что делают дети, когда их оставляют.

Она стояла у грибка, в трёх шагах от того места, где он её поставил, и смотрела.

Белое пальто шло по улице вдоль забора. Раз. Два. Три.

У угла оно остановилось.

Он обернулся.

Она подняла руку.

Не помахала — просто подняла, как поднимают, когда хотят, чтобы заметили. Варежка на резинке болталась.

Он поднял свою.

Потом завернул за угол, и его не стало.

И снег пошёл гуще.

День в яслях прошёл обычно.

Была манная каша, которую она не любила. Был тихий час. Была прогулка, на которой мальчик по имени Гена отнял у неё совок, и она отняла обратно — молча, рывком, и он заплакал, а она нет.

В пять часов начали разбирать детей.

Нянечка Зина одела её вместе со всеми — в шубку, в шапку, в валенки, повязала платок поверх шапки крест-накрест — и посадила на низкую скамейку в раздевалке.

К половине шестого разобрали половину.

К шести — всех, кроме неё и мальчика Славы, за которым пришли в десять минут седьмого.

К половине седьмого она осталась одна.

Зина сначала пыталась её раздеть обратно, потом плюнула — «да чего я тебя туда-сюда буду крутить» — и оставила одетой.

В раздевалке горела одна лампочка, над дверью. Остальные Зина погасила, потому что ей влетало за перерасход.

Двухлетний ребёнок сидел на детской скамейке в шубе, в шапке и в валенках, при одной лампочке, и ждал.

Она не плакала. Она вообще плакала очень мало — это отмечали все, кто её знал в детстве, и это было не силой характера, а симптомом, только тогда этого никто не понимал.

Зина несколько раз выходила в коридор, к телефону, звонила куда-то, возвращалась, вздыхала, один раз дала ей сушку.

В семь вечера дверь открылась.

Вошла Тамара.

Она была в пальто, в платке, с работы. Волосы выбились, лицо у неё было не такое, как обычно, — какое-то стянутое.

— Мам, — сказала Лина.

Мать не ответила.

Она прошла через раздевалку, села рядом на детскую скамейку — большая, взрослая, в пальто, на скамейке высотой двадцать пять сантиметров, — и уронила лицо в ладони.

Зина выглянула, посмотрела и молча ушла обратно в группу.

— Мам? — сказала Лина.

— Помолчи, — сказала мать.

Они просидели так минут пять.

Что случилось между двумя часами дня и семью вечера, Лина узнала только в четырнадцать лет, из разговора родни на поминках: Виталий Северцев в тот день не вышел на вторую смену, забрал в автоколонне трудовую и уехал вечерним автобусом. Вербовщик из Сургута приезжал в их город в декабре и набирал людей на вахту; Виталий записался ещё тогда и никому не сказал.

В доме он оставил записку. Что в ней было написано, Тамара Петровна не рассказала никому и никогда — ни матери, ни детям, ни дочери, даже в две тысячи четырнадцатом, на полу в пустой кухне.

Она сказала только:

— Три строчки. И деньги. Сорок рублей.

Домой они шли молча.

Мать держала её за руку и шла быстро, слишком быстро для двухлетнего шага, и Лина спотыкалась, и один раз упала на колено, и мать её подняла и понесла — молча, на руках, последние двести метров.

У калитки Тамара вдруг остановилась.

Она поставила её на землю, присела на корточки прямо в снег и обняла — очень быстро и очень крепко, так, что стало трудно дышать.

— Ничего, — сказала она куда-то в шапку. — Ничего-ничего-ничего.

И встала, и открыла калитку.

Это было последнее объятие матери, которое Ангелина Северцева помнила отчётливо.

Следующее она получит в тринадцать лет, ночью, в зале ожидания автостанции.

А после него — ещё через шестнадцать лет, на полу в пустой кухне, при обстоятельствах, которых не пожелаешь никому.

Глава 4. Белое пальто

Первые три месяца его ждали вслух.

— Приедет, — говорила баба Шура, раскатывая тесто. — Куда он денется. Погуляет и приедет.

— Не приедет, — говорила Тамара.

— Типун тебе на язык.

— Он в Сургут уехал, мам. На вахту, с Генкой. Мне Люська сказала, ей брат говорил.

— Ну и что, что в Сургут? Люди с вахты возвращаются. Вон Пирогов ездил два года — вернулся, машину купил.

— Люди возвращаются, — соглашалась Тамара. — Люди.

Потом его стали ждать молча.

И вот это было хуже.

Лина не понимала слова «ушёл».

Ей было два, потом два с половиной, потом три.

Для неё он не ушёл — он просто ещё не пришёл. Разница между этими двумя вещами составляла всю её жизнь, и никто в доме не догадался ей её объяснить, потому что взрослым казалось, что это очевидно.

У неё была система.

Плитки. От калитки до крыльца — семь плиток. Если наступить на все семь, ни разу не сбившись и не задев землю между ними, — сегодня придёт. Если сбилась — значит, завтра. Она проделывала это по несколько раз в день, и к четырём годам довела до совершенства: шаг у неё был короткий, и на дальние плитки приходилось прыгать.

Подоконник. В кухне было единственное светлое окно, выходившее на юг, на палисадник и на калитку. На подоконнике стояла герань в жестяной банке из-под болгарского компота.

Она забиралась на этот подоконник, садилась, обхватив колени, ставила подбородок на колени и смотрела на калитку.

Час. Полтора.

— Геля, слезь, дует, — говорила баба Шура.

— Я папу жду.

Первое время бабушка молчала.

На четвёртый или пятый раз не выдержала.

— Геля. Иди сюда.

Она сняла её с подоконника, отнесла на кухню и усадила к себе на колени на табурет у печи.

Печь гудела. От бабы Шуры пахло хлебом и валидолом — она сосала его по таблетке в день, когда начинало давить.

— Слушай меня. Папка твой... — Она задумалась.

У Александры Егоровны было доброе, но очень честное лицо, и врать она не умела вообще. Это была её отличительная черта, и на ней впоследствии держалось всё доверие внушки.

— Папка твой живой, — сказала она. — Здоровый. Он далеко работает.

— Далеко — это где?

— За лесом. Там, где нефть.

— А нефть — это что?

— Это такая чёрная вода. Её из земли качают. За неё деньги дают.

Лина помолчала, обдумывая.

— А за меня деньги дают?

Баба Шура поперхнулась.

— Господи, что ты городишь.

— Ну ты сказала, за нефть дают, — терпеливо объяснила трёхлетняя Лина. — А он же поехал за нефтью. Не за мной.

Старуха посидела молча, потом прижала её голову к своей груди, крепко, ладонью.

— Дурочка ты моя белая, — сказала она в темя. — Ох, дурочка.

Потом эти разговоры повторялись, с вариациями, ещё года три.

— Баб, а когда он приедет?

— Не знаю, Гелька.

— А он мне подарок привезёт?

— Привезёт.

— Какой?

— Не знаю. Куклу, наверно.

— Я не хочу куклу.

— А чего ты хочешь?

Лина думала.

— Чтоб он приехал, — говорила она.

И баба Шура вставала и уходила в сени, чтобы не сидеть с таким лицом при ребёнке.

К пяти годам у неё завёлся собственный способ.

Она подходила к чужим взрослым мужчинам — на улице, в магазине, у колонки — и разглядывала их. Молча. В упор.

Один раз в очереди за хлебом она подошла к мужику в белом полушубке, стоявшему впереди, и долго его рассматривала снизу.

— Ты чего, девка? — сказал он.

— Ничего.

— А чего смотришь?

— У тебя пальто белое, — сказала она.

— Ну белое. И чего?

Лина подумала.

— Ничего, — сказала она и отошла.

Мужик пожал плечами.

А баба Шура, стоявшая в очереди, потом всю дорогу до дома молчала и вечером сказала Тамаре:

— Тома. Она мужиков разглядывает.

— В смысле?

— В белом. Она белое высматривает.

Тамара долго молчала.

— Ну и что мне делать? — спросила она.

— Не знаю, — сказала баба Шура.

Тамара стала другой не сразу.

Сначала она много работала. Устроилась на комбинат в две смены, на фасовку, приходила в восьмом часу вечера с руками, которые пахли картоном, и с лицом человека, который отстоял девять часов у ленты.

Потом стало легче с деньгами и тяжелее со всем остальным.

Потом она начала краситься.

Лина запомнила это очень хорошо, потому что это было красиво и потому что это означало, что мать уйдёт.

Мать садилась к трюмо, где было три зеркала, включала настольную лампу, доставала из коробки тушь — ту, которую надо было поплевать и потереть щёточкой, — и тонкой кисточкой вела стрелку по веку.

И в трёх зеркалах одновременно три женщины вели три стрелки.

— Мам, ты куда?

— К Люське.

— А можно с тобой?

— Нельзя.

— Почему?

Мать смотрела на неё в зеркало — не поворачиваясь. У неё были красивые глаза, тёмные, с тяжёлыми веками, и когда она смотрела вот так, через отражение, Лине казалось, что смотрит кто-то третий.

— Потому что я тебя рожала не для того, чтобы ты за мной ходила, — сказала Тамара.

Она не хотела быть жестокой.

Это важно сказать, и Ангелина Северцева всю жизнь на этом настаивала, когда рассказывала эту сцену.

Тамаре Петровне Северцевой было двадцать два года. Её бросили с ребёнком в доме своей матери, в городе, где все всё знают. Она работала в две смены. Ей хотелось жить — не гулять, не блудить, а просто иногда надеть платье и посидеть с подругой.

Она не хотела ударить дочь. Она отмахнулась.

Просто эти слова упали в трёхлетнего ребёнка и остались там на тридцать лет.

Лина потом, уже взрослой, на консультации у Юлии Владимировны, скажет одну фразу, от которой у психолога перехватит горло:

— Понимаете, я же не обижалась. Обижаются, когда понимают, что с тобой поступили несправедливо. А я решила, что это правда. Я решила, что я действительно родилась зря — просто по ошибке, некстати, не вовремя. И всю жизнь потом пыталась как-то... оправдать своё появление. Задним числом пригодится.

Летом восемьдесят девятого, на дне рождения двоюродного брата в соседнем селе, за столом кто-то из дальней родни сказал, не подумав:

— А Витька-то, слышали? Расписался там у себя. На вахте. Баба местная, с ребёнком.

Стало тихо.

Все посмотрели на Тамару, а потом почему-то на Лину, которой было пять с половиной и которая сидела на углу стола с куском пирога.

— Ешь, — сказала ей баба Шура.

Лина ела.

Она дожевала пирог, слезла со скамейки, вышла во двор и сидела там на брёвнах до конца застолья, и её никто не хватился.

Дома, ночью, она слышала через перегородку, как мать плачет.

Не так, как обычно, — с криком, с обвинениями, со звуком падающих вещей.

По-другому: ровно, механически, на одной ноте, как дышат.

Это было страшнее.

Лина встала, пошла босиком по холодному полу и остановилась у занавески, отделявшей дальнюю комнату.

— Мам.

Плач оборвался.

— Чего тебе?

— Ты чего плачешь?

— Ничего. Иди спи.

— Из-за папы?

Пауза.

И потом мать сказала — ровно, без выражения, тем голосом, каким сообщают, что магазин закрыт:

— У тебя нет папы. Запомни и больше не спрашивай. Мне тяжело.

Лина постояла ещё немного, держась за косяк.

— Хорошо, — сказала она.

И пошла спать.

Она держала слово почти буквально.

Она не спросила об отце ни разу. Ни в шесть лет, ни в десять, ни в семнадцать, ни в тридцать. В следующий раз слово «отец» между ней и матерью прозвучит в июле две тысячи третьего — и не от неё.

Вместо этого она собирала.

Информацию — косвенно, как собирают следопыты: из оговорок; из чужих разговоров на поминках, где взрослые забывают про детей; из фразы, брошенной соседкой в спину; из того, что однажды услышала и не поняла, а поняла через восемь лет.

И один раз — из комода.

Ей было семь. Она искала чистую наволочку и под стопкой простыней нащупала что-то твёрдое.

Это была фотография. Чёрно-белая, с зубчатым краем, слегка выгнутая.

Молодой мужчина в кепке держит на вытянутых руках младенца в конверте и смотрит в объектив с испуганной улыбкой человека, который не знает, куда девать руки.

Лина сидела на полу у комода минут двадцать.

Потом украла её.

Она унесла её в свою комнату и спрятала в учебник по природоведению, между страницами про перелётных птиц, — и это был осознанный выбор, потому что про перелётных птиц там было написано, что они всегда возвращаются на то же место.

Она носила её с собой одиннадцать лет.

И потеряла в поезде осенью две тысячи третьего, вместе с учебником, который зачем-то взяла с собой в Прагу.

И ещё одно случилось в том же году, зимой.

Она стояла в кухне, смотрела на печь и вдруг поняла кое-что про тепло.

Это была первая в её жизни взрослая мысль, и она сформулировала её вслух, для себя, в пустой кухне, пятилетним голосом:

— Если не подкладывать — погаснет.

Она пошла в сени, набрала в охапку четыре полена — больше не влезло, — принесла, села на корточки перед дверцей и стала ждать, пока прогорят прежние.

Она просидела так минут двадцать, серьёзная, как человек на дежурстве.

Потом открыла дверцу кочергой — обжигаться она уже умела бояться — и положила.

Баба Шура вошла, увидела и ничего не сказала.

Только через полчаса, за столом, сказала деду:

— Ефим. Наша-то печку сама подтопила.

Дед посмотрел на Лину. Прожевал.

— Угу, — сказал он.

Это была наивысшая форма похвалы, которую он умел выдавать, и Лина светилась от неё три дня.

Глава 5. Мать у зеркала

Ей было четыре с половиной, когда в доме первый раз появился чужой мужчина.

Его звали Сергей. Он работал водителем на молоковозе, был широкий, громкий и весёлый, и в первый свой приход принёс торт «Полёт» в картонной коробке, перевязанной синей ниткой.

Торт разрезали на кухне. Лине дали кусок с розочкой.

— Ну как, принцесса? Вкусно?

Она кивнула.

— Чего молчишь-то?

Она пожала плечами.

Он пробыл в их жизни три месяца, и от этих трёх месяцев у Лины осталось три вещи: слово «принцесса», от которого её потом всю жизнь передёргивало; запах — не как от папы, другой, резкий, одеколонный; и то, что при нём мать смеялась очень громко, гораздо громче, чем обычно.

Однажды на кухне он сказал, кивнув в сторону Лины:

— Она у тебя молчит всё время.

— Она не молчит, — отозвалась баба Шура от печи, не оборачиваясь. — Она думает.

— Чего ей думать-то в четыре года?

— А ты у неё спроси.

Сергей засмеялся и присел перед Линой на корточки, хлопнув себя по коленям.

— Ну, принцесса. О чём думаешь?

Лина посмотрела на него сверху вниз — она стояла, он сидел на корточках, и ей это было удобно, потому что обычно приходилось смотреть снизу.

— О том, когда ты уйдёшь, — сказала она.

В кухне стало очень тихо.

Баба Шура закашлялась в кулак, скрывая смех, и уронила ухват.

Тамара побелела.

— Ангелина! Немедленно извинись!

— За что?

— Я сказала — извинись!

— Она правду сказала, — вмешался Сергей, вставая. Он больше не смеялся. — Ты чего на ребёнка орёшь-то.

— Не лезь!

— Я не лезу.

Он ушёл через месяц.

Много лет спустя, разбирая эту сцену, Ангелина Северцева скажет:

— Знаете, что интересно? Он был неплохой мужик. Он единственный за меня заступился. Но моя фраза его убила — потому что я ему сказала вслух то, что он сам про себя знал: что он уйдёт. Люди страшно не любят детей, которые вслух называют то, что все видят.

Потом был Володя — тихий, лысоватый, мастер с завода, пробыл два месяца.

Потом ещё кто-то, кого Лина даже не запомнила по имени, только по ботинкам: у него были рыжие ботинки с толстой подошвой, которые стояли в сенях.

Схема была всегда одна, и к пяти годам ребёнок знал её наизусть, как считалку.

Первое. Мать красится у трюмо. Три зеркала, три женщины, три стрелки.

Второе. В доме появляется запах чужого одеколona, а на столе — конфеты, которых обычно не бывает.

Третье. Хорошая неделя. Мать смеётся. Мать покупает Лине ленту или яблоко. В доме громко.

Четвёртое. Разговоры за перегородкой на два голоса — сначала тихие, потом на повышенных.

Пятое. Крики.

Шестое. Тишина. И мать курит на крыльце в накинутом на плечи пальто, глядя в темноту, и её нельзя трогать.

Промежуток между первым и шестым пунктом составлял от шести недель до четырёх месяцев.

И вот в эти годы — между четырьмя и шестью — Ангелина Северцева освоила второй навык своей жизни. Самый полезный и самый разрушительный.

Она научилась угадывать.

Угадывать по тому, как хлопнула калитка, — в каком мать настроении. Тихо прикрыла — устала, но спокойна. Хлопнула один раз — злится. Хлопнула и сразу второй звук, дёрнула на себя — плакала.

Угадывать по звуку каблучков в сенях — спрашивать про еду или лучше не попадаться на глаза ближайшие полчаса.

Угадывать по тому, как мать ставит чашку на стол, — можно ли сейчас показать рисунок.

Угадывать по первому слогу первого слова — чем кончится вечер.

Это была очень тонкая, очень квалифицированная работа, требующая постоянного внимания, и ребёнок выполнял её круглосуточно, без выходных и отпуска, начиная с четырёх лет.

В специальной литературе это называется гипервигильностью — повышенной бдительностью, которая формируется у детей в непредсказуемой среде. Механизм простой: если ты не можешь повлиять на то, что будет, ты начинаешь хотя бы предсказывать.

Ангелина Северцева называла это одним словом.

Радар.

— Он у меня до сих пор включён, — говорила она в тридцать девять лет. — Я захожу в комнату и за две секунды знаю, кто в каком настроении, кто с кем поругался, от кого чего ждать и кому сейчас нужно, чтобы его не трогали. В моей профессии это, между прочим, бесценно — мне клиенты говорят «как вы догадались». Я не догадываюсь. Я так вижу. — Она усмехалась. — Одна проблема: он не выключается. Никогда. Я двадцать лет не могла понять, почему я так устаю в гостях.

Был ещё один момент, о котором надо сказать, потому что без него не объяснить, как она вообще выжила.

Однажды — ей было пять — она сидела на кухне и рисовала.

Мать вошла, посмотрела через плечо.

— Это чего?

— Дом.

— А это?

— Солнце.

— А это кто?

На листке стояли в ряд четыре фигуры с растопыренными пальцами.

Лина помолчала.

— Это мы, — сказала она.

— Нас трое.

— Тут четыре, — сказала Лина.

Мать очень долго смотрела на рисунок.

Потом взяла его, аккуратно сложила пополам, потом ещё раз и положила в карман халата.

— Красиво, — сказала она. — Иди руки мой.

Лина потом искала этот рисунок в комоде, за трюмо и в сумке — и не нашла.

Она была уверена, что мать его выбросила.

В две тысячи четырнадцатом году, разбирая дом перед продажей, она найдёт его — в жестяной коробке из-под чая, вместе с её первым табелем, прядью белых волос, перевязанной ниткой, и справкой из роддома.

И сядет с этой коробкой на пол.

Но это сорок вторая глава.

Глава 6. Щёлка

Ей было пять с половиной, когда отец приснился ей в последний раз как живой.

Во сне он приходил и садился на край кровати.

Сон был всегда один и тот же, и она заказывала его себе перед сном, как заказывают мультфильм: закрывала глаза и очень старалась. Иногда получалось. Она подсчитала однажды: получалось раза три из десяти.

Он садился на край, и от него шёл холод улицы, и он говорил:

— Ну что, Гелька.

— Ты где был?

— Далеко. Там, где нефть.

— Ты меня заберёшь?

И вот тут сон всегда обрывался.

Он обрывался не от страха и не от того, что она просыпалась. Он обрывался, потому что у неё не хватало материала.

Она не знала его голоса настолько, чтобы сочинить за него «да».

Она помнила, как он сказал «не спеши», «ух ты какая, глазищи» и «ты у меня молодец». Три реплики, и все три — с той улицы, с того утра. Больше у неё не было ничего.

И на трёх репликах нельзя построить обещание.

Ангелина Северцева в тридцать восемь лет сформулирует это так, и на её лекции по детской травме эту фразу будут записывать:

— Ребёнок, которого бросили, не может даже выдумать себе утешение. У него не хватает данных. Взрослый человек в тоске может придумать целый роман — как бы всё было, если бы. А пятилетний не может, потому что он не знает, как разговаривают те, кто остаётся. Он этого никогда не слышал.

В том же году в доме появилась привычка, которая потом спасала ей жизнь трижды.

В кухне, в углу, у бабы Шуры была божница: три иконы на угловой полочке, застеленной вышитым рушником, и лампадка, которую она зажигала по большим дням.

Бабушка была верующей тихо, без всякой показухи. Крестилась мелко, быстро, часто без всякого повода — перед тем как ставить хлеб, после грома, если кто-то чихнул. Бормотала неразборчиво. В церковь ходила два раза в год, потому что церковь была в двадцати километрах и ходил туда один автобус.

Но каждый вечер, растопив печь на ночь и отправив всех спать, она садилась на табурет напротив угла и говорила.

Не «Отче наш». Своими словами.

Лина подслушивала из-за косяка — не из любопытства, а потому, что ей нравился звук.

— Господи, — говорила баба Шура. — Ты уж не оставь их. Томку не оставь, дуру. И Гельку. И Ефима, хоть он и молчит, ты его прости, он не со зла молчит, он такой уродился.

Однажды она обернулась и поймала её.

— Ты чего не спишь?

— Ты с кем разговариваешь?

— С Богом.

— А Он где?

Баба Шура подумала. Она вообще всегда думала перед тем, как ответить ребёнку, — этим она отличалась от большинства взрослых.

Потом ткнула пальцем в сторону печи.

— Видишь, огонь в щёлке?

В дверце поддувала дрожала узкая оранжевая полоска — сантиметра три длиной.

— Вижу.

— Вот примерно так, — сказала баба Шура. — Когда темно совсем — всегда где-нибудь щёлка есть. Ты её найди и иди на неё. Он тебе посветит.

— Точно?

— Точно.

— А если не найду?

— Значит, плохо смотрела, — сказала бабушка. — Ты, главное, проси. Не жалуйся — проси. Жаловаться Ему все умеют, от этого никакого толку.

— А как просить?

— А просто. Скажи: Господи, посвети.

Лина запомнила. Дословно, на всю жизнь.

Она повторит это в шестнадцать лет, ночью, сидя на корточках у трансформаторной будки.

В двадцать два — на ступенях костёла в чужом городе, где не будет ни одного знакомого лица.

И в двадцать четыре — лёжа на верхней койке в комнате с одним ключом, где будет темно по-настоящему.

Каждый раз она скажет одно и то же:

Господи, посвети.

И каждый раз, по её собственным словам, где-нибудь появится щёлка.

— Только имейте в виду, — предупреждала она потом, — щёлка всегда узкая и всегда не там, где вы ждёте. Я ждала, что мне откроют дверь. А мне давали щель в три сантиметра, и в неё надо было лезть самой.

Была ещё одна вещь, которую баба Шура сказала ей в то же примерно время и которую Лина поняла неправильно — и от этого потом очень много страдала.

Они сидели вдвоём, бабушка втирала ей в потрескавшиеся руки топлёный гусиный жир из жестянки из-под монпансье.

— Щиплет.

— Терпи.

— Баб.

— Ну?

— А почему мама не играет со мной?

Баба Шура втирала жир и долго молчала.

— Мать твою, — сказала она наконец, — сейчас на двух работах. И ещё у неё внутри худо.

— Что худо?

— Всё худо. Она, Гелька, не злая. Она пустая. Из неё вынули всё и обратно не положили.

— А кто вынул?

— Жизнь.

Лина подумала.

— А из меня вынут?

Старуха перестала втирать. Взяла её лицо в обе ладони — жирные, скользкие, пахнущие гусем — и повернула к себе.

— Из тебя не вынут, — сказала она очень раздельно. — Я тебе запрещаю. Слышишь? Я тебе запрещаю позволять.

— Как это — позволять?

— А так. Из человека нельзя ничего вынуть, если он сам не отдаёт. Ты не отдавай.

Это была вторая заповедь бабы Шуры, после «Господи, посвети».

Лина запомнила её намертво. И перевела для себя одним словом.

Не отдавать — значит не показывать.

Потому что как ещё это может понять пятилетний ребёнок? Если то, что у тебя внутри, могут забрать, — надо спрятать. Если спрятал — не показывай.

И следующие двадцать три года Ангелина Северцева не показывала вообще ничего. Ни страха, ни боли, ни радости, ни того, что ей чего-нибудь хочется.

Она поняла, что бабушка имела в виду совсем другое, только в тридцать семь лет — в кабинете с коробкой салфеток на столике.

— Она же не про «прячь» говорила, — сказала она тогда Юлии Владимировне, и у неё было совершенно потрясённое лицо. — Она говорила «не отдавай». Не позволяй, чтобы у тебя взяли. Это же прямо противоположное. Прятать — это как раз отдать: всё внутри осталось, но никто не видит, значит, тебя как бы и нет.

Она помолчала.

— Тридцать два года. Одно слово не так понято — и тридцать два года жизни.

Глава 7. Шесть лет. Крик за стеной

Девяностый год пришёл в дом вместе с Николаем Гречиным.

Он был не хуже других — в этом-то и была беда.

Дядя Коля работал в РСУ, умел класть плитку, штукатурить и чинить проводку, приносил в дом деньги и трезвым был добродушным, медлительным человеком с большими красными руками, который мог час просидеть на крыльце, молча куря и глядя на берёзы.

Он даже нравился Лине первое время.

Он не называл её «принцессой». Не хватал на руки, не тискал, не требовал любви и не проверял, любит ли она его. Он вообще к ней не приставал.

Он просто однажды принёс ей из РСУ огрызок цветного мела — настоящего, строительного, толстого — и сказал:

— На. Рисуи на печке, отмоеся.

Она нарисовала на белёном боку печи дом, солнце и четырёх человек.

Он посмотрел.

— А это кто четвёртый?

— Никто, — сказала Лина. — Так.

Он не стал спрашивать.

Он вообще редко о чём-нибудь спрашивал, и в первые месяцы это было прекрасно — после Сергея с его «ну, принцесса, о чём думаешь» это было просто счастье.

Расписались в июле.

Свадьбу играли дома, во дворе, под тентом из брезента, натянутым от сарая до забора, потому что денег на столовую не было. Столы составили из досок на козлах. Гостей было человек тридцать.

Лине сшили платье. Из маминой старой комбинации, покрашенной в синий цвет, с нашитым сверху кружевом, споротым с занавески.

Платье было красивое. Она весь вечер просидела на краю лавки и почти не ела, потому что боялась испачкать.

Из этого дня она запомнила три вещи.

Первое: как гости кричали «горько» и мать с дядей Колей целовались, и мать при этом смотрела не на него, а поверх его плеча — на калитку.

Второе: как баба Шура весь вечер не пила, не пела и не плясала, а сидела на своём табурете и смотрела в стол.

Третье: как поздно вечером, когда уже темнело, Лина ушла за сарай и села там на чурбак, и её нашла соседка, тётя Рая, и спросила:

— Ты чего тут, Гелька? Свадьба же.

— Ага.

— А чего не празднуешь?

И шестилетняя девочка ответила фразой, которую тётя Рая потом рассказывала на улице лет пять:

— Я жду, когда все уйдут.

Пить он начал в сентябре.

Или продолжил — Лина не знала, как это правильно называется, и долго потом не могла понять, был ли он пьющим до свадьбы. Мать говорила, что нет. Баба Шура говорила, что все они сначала «нет».

Сначала по пятницам.

Потом по средам и пятницам.

К зиме — когда получится.

И вот тогда в доме начался тот звук, который Ангелина Северцева не могла переносить всю оставшуюся жизнь.

Не сами слова. Именно звук. Ритм.

У ссоры за стеной есть партитура, и шестилетний ребёнок выучил её наизусть за одну зиму.

Такт первый. Два голоса на одной громкости. Это ещё ничего, это разговор.

Такт второй. Один голос поднимается. Второй становится тише.

Вот это опасно. Когда мать говорит тише — значит, она копит.

Такт третий. Оба одновременно. Слов уже не разобрать.

Такт четвёртый. Что-то падает. Стул, чашка, однажды — трюмо, и три зеркала не разбились, потому что упало на диван.

Такт пятый. Пауза. Секунд пять.

И вот в этой паузе Лина переставала дышать. Потому что не знала, что будет дальше. За паузой могло быть всё: и хлопнувшая дверь, и мамин плач, и «Коля, Коля, ну не надо».

Такт шестой. Развязка.

Полный цикл занимал от восьми минут до сорока.

— Ты кто такая вообще?! Ты кто такая, чтоб мне указывать?!

— Я тебе жена!

— Жена?! Да ты за меня пошла, потому что тебя твой Витька бросил! С довеском!

— Не смей!

— А чё не смей-то? Правду не смей?

— Не смей про ребёнка!

— Да я про ребёнка и не говорю! Ребёнок-то не виноват, что мать...

Дальше шёл грохот.

Дальше шёл плач.

Дальше шло «Коля, Коля, Коля, ну не надо, ну Коля» — и вот это было самым невыносимым. Потому что голос матери в эту секунду становился жалким, а Лина не выносила, когда мать жалкая, гораздо хуже, чем когда мать злая.

Злая мать — это было понятно и привычно. Жалкая мать означала, что в доме нет ни одного взрослого.

Она лежала в тёмной комнате лицом к стене и считала ромбики.

Девятнадцать. Двадцать. Двадцать семь. Сорок.

Тишина не наступала.

В ту зиму тишина перестала наступать на счёт девятнадцать.

Она доходила до ста, сбивалась, начинала снова. Один раз досчитала до трёхсот с чем-то.

Утром она встала с распухшим пальцем: она стёрла его о выпуклый рисунок обоев.

Баба Шура увидела, взяла руку, посмотрела.

— Это чего?

— Ничего.

Старуха посмотрела на обои — на стену над кроватью, где на уровне лежащего ребёнка ромбики были затёрты до гладкости широкой полосой.

Она ничего не сказала.

Она молча вышла, принесла из сеней старое байковое одеяло и повесила его на гвоздь на эту стену, закрыв затёртое место.

— Так теплее будет, — сказала она.

Одной ночью — это было в феврале девяносто первого, за неделю до её седьмого дня рождения — Лина встала.

Ей было шесть лет и одиннадцать месяцев.

Она вышла в коридор — там было холодно, пол ледяной, — прошла до занавески и отёрнула её.

Свет в комнате горел. Мать сидела на полу у дивана, придерживаясь рукой за сиденье. Дядя Коля стоял над ней, держась за косяк, покачиваясь.

Лина сказала громко и отчётливо — тем самым голосом, который потом, через тридцать лет, будет останавливать людей в кабинетах, в коридорах и на улицах:

— Хватит.

Оба повернулись.

— Ты чего встала, — сказала мать. — Иди спать.

— Хватит, — повторила Лина. — Она устала. Отстань от неё.

Дядя Коля очень долго на неё смотрел.

Он был здоровый мужик тридцати четырёх лет, и перед ним стояла девочка ростом метр двенадцать, босиком, в застиранной ночной рубашке.

Потом он ужасно медленно сел на диван, обхватил голову руками и заплакал — громко, некрасиво, взхлёб, как плачут пьяные мужчины.

— Господи, — сказал он в ладони. — Что ж я делаю-то. Что ж я, сволочь, делаю. Тома. Том. Ты прости меня.

Мать поднялась с пола.

И вот здесь была секунда, которую Ангелина Северцева считала главной секундой своего детства.

Она стояла в дверном проёме и ждала.

Чего именно — она не понимала. Может быть, что мать подойдёт. Обнимет. Скажет «спасибо». Скажет «молодец». Скажет «иди спать, я сама».

Мать подошла и наотмашь ударила её по лицу.

— Не лезь, — сказала она. — Никогда не лезь, слышишь? Кто тебя просил?

Лина не заплакала.

Она стояла, держась за щёку, и смотрела на мать снизу вверх.

И в этот момент — она потом опишет это очень точными словами, и Юлия Владимировна запишет их дословно, — внутри у неё что-то щёлкнуло и перещёлкнулось. Как тумблер.

— Я поняла, — сказала она.

И ушла спать.

Она потом объясняла, что именно она тогда поняла, и объясняла так:

— Я поняла, что защищать нельзя. Что если ты лезешь спасать — тебя же и ударят. Причём ударит тот, кого ты спасаешь. — Она усмехалась без всякого веселья. — Знаете, что самое смешное? Я поняла неправильно, и это меня всю жизнь ломало. А ещё я с этой секунды перестала обращаться за помощью — вообще, ни к кому, никогда, ни разу до двадцати двух лет. Потому что если помогать нельзя, то и просить нельзя, это же одно и то же с двух сторон.

Утром на кухне мать поставила перед ней тарелку с кашей, посидела напротив, глядя в стол, и сказала:

— Ты это... Я вчера погорячилась.

— Угу.

— Просто нельзя тебе в это лезть. Ты маленькая.

— Угу.

— Гель.

— Что?

— Ну не молчи ты.

Лина подняла голову.

— Я не молчу, — сказала она. — Я ем.

Мать посидела ещё немного и встала.

Вечером она принесла с работы ириски — половину пачки, видимо, кто-то угостил, — и положила Лине на подушку.

Лина съела их все, сразу, ночью, в темноте, лёжа лицом к стене.

Она была очень дисциплинированный ребёнок и почти никогда не отказывалась от того, что дают.

Глава 8. Девочка, которая хотела исчезнуть

О том, что было с ней той зимой, Ангелина Северцева рассказала первому в жизни человеку в тридцать девять лет, в кабинете на пятом этаже, с коробкой салфеток на столике.

Не в шесть. Не в шестнадцать. Не в двадцать шесть.

В тридцать девять.

— Мне было шесть, — сказала она. — И я помню совершенно ясно: я хотела не быть.

Юлия Владимировна тогда спросила очень осторожно, тем специальным ровным голосом, которым такие вещи спрашивают:

— Что значит «не быть»?

— Не умереть, — сказала Лина. — Умереть — это я тогда не понимала толком. У нас никто ещё не умирал при мне, кроме собаки. Я хотела... отмениться. Чтобы меня не было. Чтобы я как бы не рождалась. Понимаете разницу?

— Понимаю.

— Я лежала и думала: вот если бы меня не было — мама бы вышла замуж нормально. И папа бы не уехал, потому что чего ему уезжать, если детей нет. И дядя Коля бы не орал. Я же слышала через стенку: «с довеском». Я слышала это раз двадцать за зиму. Я поняла, что довесок — это я.

Она помолчала.

— Знаете, откуда я вообще знала это слово? В магазине. Тогда колбасу резали и взвешивали, и если не хватало до веса — отрезали маленький кусочек и клали сверху. И тётка за прилавком говорила: «Довесок берёте?» И некоторые говорили: «Не надо мне довеска». — Она посмотрела в окно. — Вот я и была маленький кусочек, который взяли, потому что некуда девать.

— Ангелина, а вы кому-нибудь тогда об этом сказали?

— Нет, конечно.

— Почему?

— А кому? — Она пожала плечами. — И главное — как? Я же не могла подойти к матери и спросить: «Мам, я лишняя?» Мне бы такое и в голову не пришло. Это же не вопрос. Это факт.

Юлия Владимировна помолчала.

— И что получилось? — спросила она.

— А получилось вот что, — сказала Ангелина Северцева. — Я в шесть лет поставила себе диагноз. И ни разу его потом не пересмотрела. Тридцать три года я ходила с диагнозом, который мне поставил шестилетний ребёнок, не имеющий ни одного источника информации, кроме подслушанного через фанеру пьяного разговора.

Тогда, зимой и весной девяносто первого, всё это выглядело очень буднично.

Никаких криков, никаких записок, ничего, что показывают в кино.

Она перестала есть.

Не демонстративно — она не отказывалась, не отодвигала тарелку. Она просто ела очень медленно и очень мало, и кусок хлеба мог лежать перед ней час. В конце концов баба Шура заметила, что у ребёнка ключицы стали как у птицы, а на спине можно пересчитать позвонки.

— Ты почему не ешь?

— Я ем.

— Ты чего, заболела?

— Нет.

Её водили к врачу. Врач, женщина в возрасте, посмотрела горло, послушала, помяла живот и сказала:

— Худенькая. Ну так они сейчас все худенькие. Витамины давайте.

Витаминов не было.

Она перестала разговаривать в садике.

В характеристике, которую в мае написала воспитательница, было сказано: «Замкнута, в коллектив не включается, предпочитает наблюдать. На занятиях внимательна, задания выполняет аккуратно. Инициативы не проявляет».

Эту характеристику Тамара Петровна прочитала, положила в сервант и забыла.

Её найдёт в две тысячи четырнадцатом году тридцатилетняя женщина, разбирая дом, и просидит с ней на полу двадцать минут.

Она стала подолгу сидеть в тёмной комнате.

В той самой — в бывшей родительской, куда после свадьбы перенесли её кровать, потому что молодым отдали дальнюю.

Там между комодом и стеной была щель шириной сантиметров двадцать пять.

Она садилась туда на пол, спиной к комоду, обхватывала колени и сидела.

Иногда десять минут. Иногда час.

Она не плакала там и не играла. Она просто сидела в темноте и старалась занимать как можно меньше места.

Потом, через много лет, она узнает, что это довольно типичное поведение и что у него есть название. И ещё узнает, что таких щелей, углов за шкафом и мест под кроватью в стране приблизительно столько же, сколько неблагополучных семей.

Её нашла там баба Шура — в феврале, накануне седьмого дня рождения.

Старуха зажгла свет. Лина сощурилась и отвернула лицо.

— Ты чего тут?

— Ничего.

Баба Шура постояла в дверях.

Потом крикнула и с трудом, придерживаясь одной рукой за комод, а другой упираясь в стену, опустилась на пол рядом.

Ей было семьдесят четыре года, и колени у неё уже тогда были больные, и садиться на пол ей было нельзя.

Она села.

Её колени в толстых чулках торчали углами.

— Тесно у тебя тут, — сказала она.

— Нормально.

Они сидели молча минуты три. В доме гудела печь. Где-то капало.

— Баб.

— Ну?

— А можно я не буду?

Старуха повернула голову.

— Чего не будешь?

— Ничего не буду. Совсем.

Пауза.

— Можно, чтобы меня не было? — спросила Лина.

Александра Егоровна не заплакала.

Не всплеснула руками. Не сказала «что ты такое говоришь», «типун тебе на язык», «не смей так думать», «а кто же у меня будет». Не заохала и не побежала звать Тамару.

Она прожила семьдесят четыре года. Она похоронила двоих детей во младенчестве — в тридцать девятом и в сорок шестом — и брата на войне. И она знала совершенно точно: на такие слова нельзя отвечать громко.

Она взяла руку внучки, расправила ладонь и положила себе на грудь — под кофту, к телу, туда, где билось сердце.

— Слышишь?

Ладонь была маленькая и холодная. Под ладонью — тёплое, дряблое, и в глубине толчки.

— Слышу.

— Оно у меня старое, — сказала баба Шура. — Стучит уже через раз. А у тебя новое. И его, понимаешь, на много лет заводили. Не на шесть. На много-много.

— На сколько?

— Не знаю. Много.

Лина молчала.

— Так что придётся тебе быть, Гелька, — сказала старуха. — Уж извини.

— Зачем?

— А вот этого я тебе не скажу.

— Почему?

— Потому что не знаю, — сказала баба Шура. — И никто не знает. Никто на свете тебе этого не скажет, и не слушай, если кто скажет, — врёт. Ты сама узнаешь. Лет через тридцать.

— Это долго.

— Долго, — согласилась бабушка. — Ну а куда деваться.

Она помолчала.

— Придёшь ко мне на могилку и скажешь: баб Шур, знаешь, зачем я была? И расскажешь. А я послушаю.

— А ты услышишь?

— Я-то? — Старуха усмехнулась. — Да я оттуда лучше слышать буду, чем отсюда. Я тут глуховата на левое.

Лина неожиданно засмеялась.

Первый раз за всю зиму.

— Ну вот, — сказала баба Шура, начиная тяжело подниматься. — Давай вылезай. Пирог стынет.

— Какой пирог?

— С капустой. Завтра день рождения — сегодня пекут, чтоб настоялся. Ты чего, не знаешь разве?

Это не был терапевтический разговор.

Старая женщина с четырьмя классами церковноприходского образования не знала слов «суицидальные мысли», «депрессивный эпизод» и «детская травма». Она не читала ни одной книги по психологии и вообще прочитала за жизнь книг, наверное, десять.

Она просто села на холодный пол рядом с ребёнком, которому было плохо, — при больных коленях, в семьдесят четыре года, — и не ушла.

Потом Ангелина Северцева, уже будучи практикующим психологом, скажет своим слушателям на семинаре:

— Вот вам вся детская психотерапия в одном действии. Сесть рядом. Не спрашивать «что случилось». Не говорить «всё будет хорошо». Не обещать того, чего не можешь. Сказать правду: да, придётся жить; нет, я не знаю зачем; узнаешь сама. И остаться сидеть.

Она помолчит и добавит:

— Меня спасла неграмотная старуха. У меня диплом и три специализации. Я до сих пор не уверена, что умею лучше.

Через тридцать два года Ангелина Северцева придёт на могилу к бабе Шуре и скажет вслух всё, что обещала.

Об этом будет сорок пятая глава.

Глава 9. Дядя Коля

Между тем разговором на полу и её седьмым днём рождения прошло три недели.

А через месяц после дня рождения случилось событие, о котором нужно сказать честно, потому что из песни слова не выкинешь.

Дядя Коля спас ей жизнь.

Это было в марте девяносто первого.

Речка Талица к середине марта уже отходила от берегов: вдоль обоих берегов шла тёмная полоса открытой воды метра в полтора, а середина ещё держалась — серая, ноздреватая, с белыми пятнами наста.

Мальчишки с Заречной бегали по этому льду, показывая, кто дальше зайдёт. Это была весенняя игра, за которую пороли каждый год и в которую играли каждый год.

Лина в таких вещах не участвовала. Она вообще ни в чём не участвовала.

Но в тот день Генка Пирогов, двумя годами старше, отнял у неё варежку и зашвырнул на лёд — просто так, из чистого мальчишеского идиотизма, и, зашвырнув, сам испугался, потому что варежка улетела далеко.

Варежка была одна из пары. Пара была одна на зиму. Потерять её было нельзя: другой не купят, а до тепла ещё месяц.

Это надо понимать, чтобы понять всё остальное. Семилетняя девочка пошла на весенний лёд не из глупости и не из удали. Она пошла туда, потому что варежку нельзя было терять, а просить купить новую она не могла — это было немыслимо.

— Гелька, не ходи! — крикнул Генка. — Гелька!

Она пошла.

Она прошла метров пять.

Лёд под ней ухнул мягко, без треска, — просто вдруг перестал быть твёрдым.

Она провалилась сразу по грудь.

Вода была такая холодная, что первые секунды она вообще ничего не чувствовала, кроме того, что не может вдохнуть: грудную клетку сдавило, и воздух не шёл.

Её потянуло под кромку — течение под льдом было сильное, весеннее.

Она вцепилась обеими руками в край.

Край крошился.

Она не закричала.

Вот это надо подчеркнуть, потому что это её главная черта и потому что она проявится ещё дважды: во второй раз это спасёт ей жизнь, а в третий раз чуть не убьёт.

Ангелина Северцева не кричала, когда было по-настоящему плохо.

Она кричала — точнее, говорила громко и отчётливо, — когда надо было кого-то защитить. «Хватит». «Отстань от неё».

А когда плохо было ей самой, у неё отключался голос. Совсем.

Она потом объясняла это так:

— Кричат зачем? Чтобы пришли. А я к семи годам уже твёрдо знала, что не придут. Знаете, как это формируется? Очень просто. Ребёнок кричит, к нему не приходят. Второй раз кричит — не приходят. Третий. На четвёртый он перестаёт. И всё, механизм сломан. Дальше он будет тонуть молча, потому что орать — это унижительно и бессмысленно.

Она держалась за крошащийся лёд и молчала.

Мальчишки на берегу орали за неё.

Дядя Коля шёл с работы через мост.

Он был трезвый — в четыре часа дня, в среду.

Он услышал крик, посмотрел, бросил сумку прямо в снег и скатился по откосу на пятой точке, потому что бежать по откосу было нельзя.

Он лёг на живот метрах в десяти от полыньи и пополз.

Лёд под ним трещал — сплошняком, длинно, и мальчишки на берегу замолчали.

— Руку! — заорал он. — Руку давай! Ну!

Она не могла отпустить край. Она вцепилась так, что не разжималось.

— Гелька! Одну руку! Одну, слышишь?!

Она отпустила правую.

Он дотянулся и взял её за запястье — так сильно, что через неделю синяки ещё были, четыре тёмных пятна и пятое от большого пальца.

И вытащил её на лёд, как рыбину: рывком, животом вперёд.

Потом волоком, по-пластунски, отталкиваясь носками сапог, назад к берегу — метр за метром, не вставая, потому что вставать было нельзя.

На берегу он сорвал с себя телогрейку, замотал её, схватил на руки и побежал.

Он бежал восемьсот метров.

Спотыкался, проваливался в мокрый снег, матерился сквозь зубы и всю дорогу повторял одно и то же:

— Ничего. Ничего, дочка. Ничего. Сейчас. Ничего.

Она это помнила. Не сам холод, не воду, не то, как проваливалась, — а вот это: как её несут, и как трясёт, и как над ухом хрипят «ничего, дочка, ничего».

Дочка.

Он назвал её так один раз в жизни, и то в панике, не думая, что говорит. Больше — никогда.

Дома он ввалился в кухню, поставил её у печи, стянул с неё всё мокрое, замотал в одеяло, растёр водкой ноги и руки.

Баба Шура кричала, суежилась, грела воду, крестилась.

Мать прибежала с работы через час.

А дядя Коля в тот же вечер напился до бесчувствия — потому что у него весь вечер тряслись руки, и он не мог поднести к губам стакан, не расплескав.

Ночью Лина лежала у печи под тремя одеялами — горячая от растирания, с гудящей головой, — и слушала, как на кухне негромко разговаривают.

— Спасибо тебе, — сказала мать.

— Да ладно.

— Нет, не ладно. Коля. Спасибо.

Пауза. Звякнула бутылка о стакан.

— Тома.

— Что?

— Она ж не орала. — Голос у него был странный. — Понимаешь? Тонет — и не орёт. Я ж случайно оглянулся. Я по мосту шёл, пацаны орут — я думал, они играют. Я б не оглянулся — и всё. Через минуту бы её под лёд утянуло.

Молчание.

— Почему она не орала-то? — спросил дядя Коля.

— Не знаю, — сказала мать.

— Она у тебя... — Он искал слово. Долго искал. — Она у тебя как будто привыкла, что не придут.

Лина лежала, и ей было очень жарко, и она подумала совершенно спокойно, без всякой горечи, как думают про погоду:

«Правильно».

Дядя Коля развёлся с матерью весной девяносто пятого, оставив ей двоих детей и алименты, которые платил месяцев восемь, а потом перестал, потому что работы не стало.

После развода Лина видела его раза четыре. Он приезжал, привозил конфеты, сидел на кухне, плакал и уезжал.

Он умер в две тысячи седьмом году, в пятьдесят один год, — сгорел за полгода.

Она не смогла приехать на похороны: у неё была смена, и деньги на билет она отправила домой третьего числа.

Через год она могла бы приехать. Через два — уже нет: с марта две тысячи восьмого по июль две тысячи восьмого у неё не было паспорта, а потом два года она была свидетелем по делу и не могла выезжать.

На его могиле она была один раз, в две тысячи четырнадцатом. Постояла минут десять. Ничего не сказала.

Но всю жизнь, когда её спрашивали — а её спрашивали часто, и коллеги, и клиенты, — был ли в её детстве хоть один взрослый мужчина, который сделал для неё что-нибудь хорошее, Ангелина Северцева отвечала одинаково:

— Был. Один.

— Кто?

— Отчим. Первый. Он был алкоголик, он орал на мою мать, он однажды швырнул в стену табуретку, и я до сих пор не могу слышать пьяный мужской голос — у меня всё внутри опускается.

Пауза.

— И он лёг на живот на весенний лёд и полз ко мне десять метров. А потом бежал со мной восемьсот метров и повторял «ничего, дочка».

И дальше она говорила то, что было её собственным, выстраданным, ни у кого не заимствованным выводом:

— Люди не делятся на хороших и плохих. Это детское деление, и оно очень удобное — с ним легко жить, пока тебя никто не спасал. Люди — сложные. Один и тот же человек может в среду вытащить тебя из-под льда, а в пятницу орать на твою мать так, что ты будешь считать ромбики до трёхсот. И это не два разных человека. Это один.

— И как с этим жить? — спросила её однажды на консультации молодая женщина.

— Тяжело, — сказала Ангелина Северцева. — Но честно. А главное — это единственное, что даёт шанс простить. Потому что пока человек для тебя монстр, простить нечего: монстров не прощают, их только боятся. А вот сложного человека — можно.

Глава 10. Семь лет. Славик

Вячеслав Николаевич Гречин родился двенадцатого сентября девяносто первого года. Три сто, пятьдесят сантиметров, крикливый, лысый и красный.

Лине было семь лет и семь месяцев.

Она пошла в первый класс за десять дней до этого — второго сентября, в белом фартуке, перешитом из бабушкиного, с гладиолусами, купленными у соседки за рубль.

Мать привезли из роддома в четверг.

Лина стояла у калитки в школьной форме — она специально не стала переодеваться, потому что в форме она была больше похожа на человека, которому можно доверять.

Из машины вынесли кулёк.

И у неё внутри произошло что-то очень странное, чего она тогда не могла назвать, а назвала потом, в тридцать семь лет, и от этого названия Юлия Владимировна долго молчала.

— Я увидела его, — сказала она, — и поняла, что теперь у меня есть кто-то, кого я могу не бросить.

— Не бросить? — переспросила Юлия Владимировна.

— Именно так. Не «кого я буду любить». Не «кого мне дадут понянчить». А вот именно: кого я могу не бросить. Понимаете, в моём мире слово «любить» ещё не значило ничего. Любили все. Меня мать любила, и я это знала. А толку?

Она посмотрела в окно.

— В моём мире значение имело только одно: остался человек или ушёл. И вот я в семь лет увидела этот кулёк и подумала: я останусь. Это всё, что я могу дать. Я останусь.

Она сдержала и это.

Звучит красиво. На деле это выглядело так.

Первые три недели всё было почти нормально. Мать кормила, бабушка помогала, дядя Коля ходил гордый и даже не пил две недели.

Потом у матери начались проблемы с молоком.

Потом дядю Колю сократили в РСУ — начиналось время, когда сокращали всех.

Потом баба Шура слегла с давлением на две недели — ей было семьдесят шесть.

И в доме наступило то, что Лина потом про себя называла «оно».

«Оно» — это когда в четыре часа ночи плачет ребёнок, и никто не встаёт.

Первый раз она лежала и ждала.

Она была совершенно уверена, что мама встанет. Мамы всегда встают, это она знала из мультиков и из книжек.

Мама не вставала.

Ребёнок захлёбывался. Не просто плакал — заходился, с этим страшным перерывом на вдох, когда кажется, что он сейчас не сможет вдохнуть.

Лина досчитала до ста. Потом до двухсот.

Потом встала.

Она подошла к кровати.

Она не знала, что делать. Совершенно. Ей было семь лет.

Она увидела в темноте орущее красное лицо со сморщенными глазами и растерялась до слёз.

— Славик. Славичка. Ну ты что. Ну не надо. Ну пожалуйста.

Она сунула в кроватку руку, и он вдруг поймал её палец беззубым ртом и на секунду замолчал.

Потом заорал снова, ещё громче, потому что палец был не тем, что ему нужно.

Она пошла в комнату матери.

— Мам.

Тишина.

— Мам, он плачет.

— Дай мне поспать, — сказал голос из темноты. — Гелька. Ради Христа. Два часа. Дай поспать два часа.

— А что делать?

— Возьми на руки и походи.

Она вернулась.

Взяла.

Он был тяжёлый — гораздо тяжелее, чем казался со стороны, — и голова у него моталась.

Она вспомнила, как показывала баба Шура: ладонь под затылок, вторая под попу, прижать к себе.

И пошла.

Она пошла по кухне вдоль печи.

От угла до угла — восемь шагов. Восемь туда, восемь обратно.

И качала, и шептала всё, что приходило в голову, потому что колыбельных она не знала ни одной: таблицу сложения до десяти, стихотворение про берёзу под окном, слова из букваря, названия дней недели.

Он замолчал на тридцатом круге.

Она боялась положить его обратно и ходила ещё минут двадцать, пока руки не начали неметь до плеч. Потом села на табурет у печи, прислонилась виском к тёплому боку и стала ждать, когда можно будет переложить.

В шесть утра встала баба Шура — уже вставала понемногу — и вошла в кухню.

И увидела: семилетняя девочка в ночной рубашке спит сидя на табурете, прислонившись виском к печи. А на руках у неё спит младенец.

Старуха постояла в дверях.

Потом тихо вышла в сени, притворила за собой дверь и там, в сенях, среди дров и вёдер, беззвучно заплакала, зажав рот ладонью, — чтобы никто не видел и не слышал.

Ангелина Северцева узнает об этом через двадцать три года. От матери, на полу в пустой кухне.

— Она мне тогда сказала, — расскажет Тамара Петровна. — Мамка. Она мне тогда сказала: «Тома, ты чего делаешь? Она ж ребёнок». А я сказала: «Мам, у меня сил нет». И мамка сказала: «У всех нет. Это не отговорка».

Так это началось.

К ноябрю девяносто первого у Лины сложился распорядок, который потом не менялся восемь лет — менялись только цифры и количество детей.

5:45 — подъём. Растопить печь. Дрова принесены с вечера, чтобы утром не греметь.

6:10 — поставить воду. Две кастрюли: одна на кашу, вторая просто горячая, она всегда нужна.

6:20 — Славик. Перепеленать. Бутылочка — мать уже не кормила.

7:00 — своя каша. Форма. Портфель, собранный с вечера.

7:35 — выход. Двадцать минут пешком, зимой двадцать пять.

13:50 — обратно бегом.

14:00–20:00 — Славик. Стирка. Обед. Дрова. Вода.

20:00–23:00 — уроки. На кухне, на углу стола, под одной лампочкой, между двумя кормлениями.

23:00–3:00 — сон.

3:00 — Славик.

3:40–5:45 — сон.

— Гель, — сказал однажды дядя Коля, застав её в одиннадцать вечера над тетрадью. — Ты б спать шла.

— Мне ещё примеры.

— Да плюнь ты на примеры. Первый класс, кому они нужны.

Она подняла голову и посмотрела на него.

— Нет, — сказала она.

— Чего «нет»?

— Не плюну.

Он хмыкнул и пошёл спать.

В этом семилетнем «нет» — спокойном, без вызова, без обиды, без объяснений — был весь её будущий характер.

Она не спорила. Не доказывала. Не устраивала истерик. Не хлопала дверью.

Она просто говорила «нет» — и после этого переубедить её было невозможно. Ни в семь лет, ни в двадцать четыре, ни в тридцать девять.

В декабре учительница, Нина Аркадьевна, вызвала мать в школу.

Нине Аркадьевне было тогда пятьдесят три года, из них тридцать один — в школе.

— Тамара Петровна. У вас девочка засыпает на уроках.

— Она дома поздно ложится.

— Почему?

Мать помолчала.

— У нас маленький. Она помогает.

— В каком смысле помогает?

— В прямом.

Нина Аркадьевна сняла очки.

— Тамара Петровна. Ей семь лет.

— Я знаю, сколько ей.

— Она у вас одна из самых способных детей в параллели. У неё по математике идеально всё, она решает за третий класс. Вы понимаете, что при таком режиме через год...

— Нина Аркадьевна, — перебила мать.

Голос у неё был ровный и очень усталый — тот самый голос, каким она потом, через девять лет, скажет на кухне «да».

— А кто?

— Что — кто?

— Кто ей поможет? — сказала Тамара Петровна. — Мужик мой без работы. Мать лежит с давлением, ей семьдесят шесть. Я в две смены, у меня комбинат стоит через раз, я не знаю, будет зарплата в январе или нет. Вы мне скажите — кто? Вы придёте?

Учительница не нашла что ответить.

Она проработала в школе тридцать один год и видела всякое, и она знала, что ответа нет.

— Я поняла, — сказала она. — Извините.

Дома мать прошла мимо Лины, не глядя, и только в дверях сказала:

— Не спи на уроках. Позоришь.

— Хорошо, — сказала Лина.

В ту же ночь, укачивая Славику у печи — восемь шагов туда, восемь обратно, — она додумала свою вторую взрослую мысль.

И додумала её так же, как первую: вслух, семилетним голосом, в пустую кухню, обращаясь неизвестно к кому.

Она сказала:

— Значит, никто.

Постояла.

И добавила:

— Значит, я.

Это была формула.

По ней Ангелина Северцева прожила следующие двадцать девять лет — до тридцати шести, до кухни в Праге, до разговора с Даниилом Верещагиным.

Формула была очень удобная. С ней было понятно, как жить, и не надо было каждый раз решать заново: если непонятно, кто должен, — значит, ты.

С ней можно было выжить. С ней можно было вытащить пятерых. С ней можно было не сломаться там, где ломались все.

С ней было невозможно только одно.

Быть счастливой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НЯНЯ

1991–1999

Глава 11. Пелёнки и уроки

В девяносто втором году в их городе исчезло почти всё, и появилось почти всё.

Исчезли: сахар в магазине на углу, старые деньги, завод «Прогресс», куда ходила половина улицы Заречной, и уверенность взрослых в том, что они знают, как жить. Появились: talon'ы на масло, рынок у автостанции, где продавали с картонных коробок, куриные окорочка в синих пакетах, которые все называли ножками Буша, жвачка с наклейками и телевизор, который к вечеру собирал весь дом в одну комнату.

Лине было восемь. Для неё весь девяносто второй год уместился в один звук — шлёпанье мокрого белья о край оцинкованного таза.

Стиральная машинка «Сибирь» сломалась в феврале. Чинить было некому и не на что. И вот с февраля девяносто второго и по март девяносто восьмого, шесть лет подряд, Ангелина Северцева стирала руками.

Пелёнки замачивались с вечера в тазу с хозяйственным мылом. Утром их надо было отжать — а отжимала она плохо, руки были детские, — потом прополоскать в трёх водах, потом отжать снова, потом развесить. Зимой развешивали в кухне, над печью, на верёвке, натянутой от угла до гвоздя в притолоке. От этого в кухне всегда стояла влажная духота, и уроки она делала в этой духоте, под мокрым пологом из чужих пелёнок, свисающих ей на затылок.

— Гелька, — сказала однажды баба Шура, — ты б хоть стол к окну передвинула.

— Там дует. На тетрадь капает.

— Ну так и тут капает.

— Тут теплее.

Старуха посмотрела на её руки. Ногти были обкусаны до мяса, костяшки красные, потрескавшиеся, с белой облезавшей кожей.

— Дай сюда.

Она достала из-за иконы жестянку из-под монпансье, в которой держала топлёный гусиный жир, и молча, сердито, стала втирать внучке в пальцы.

— Щиплет.

— Терпи.

— Баб.

— Ну?

— А почему мама не стирает?

Баба Шура втирала жир и долго не отвечала.

— Мать твоя, — сказала она наконец, — сейчас на двух работах. И ещё у неё внутри худо.

— Что худо?

— Всё худо. Она, Гелька, не злая. Она пустая. Из неё вынули всё и обратно не положили.

— А кто вынул?

— Жизнь.

Лина подумала.

— А из меня вынут?

Старуха перестала втирать. Взяла её лицо в обе ладони — жирные, скользкие, пахнущие гусем, — и повернула к себе.

— Из тебя не вынут, — сказала она очень отдельно. — Я тебе запрещаю. Слышишь? Я тебе запрещаю позволять.

— Как это — позволять?

— А так. Из человека нельзя ничего вынуть, если он не отдаёт. Ты не отдавай.

Это была вторая заповедь бабы Шуры, после «Господи, посвети». Лина запомнила её, но поняла только лет через двадцать пять — и, честно говоря, поняла неправильно. Потому

что «не отдавай» она перевела для себя как «не показывай», и следующие два десятилетия не показывала вообще ничего.

Славику было полтора. Он ходил, держась за мебель, и говорил три слова: «дай», «на» и «Ля». «Ля» — это была Лина.

Он не звал маму. Мама уходила в шесть утра и приходила в девять вечера. Он звал «Ля», и когда падал, тоже звал «Ля», и когда ночью просыпался — тоже.

Однажды в марте мать вернулась пораньше, часов в семь. Славик сидел на полу в кухне и катал по половице деревянную лошадь на колёсиках — ту самую, белую, дедову. Тамара вошла, скинула сапоги, нагнулась к нему.

— Ну иди сюда, сынок. Иди к маме.

Он посмотрел на неё внимательно, как смотрят на гостью. Потом отвернулся, встал на четвереньки и уполз к Лине, которая мешала суп у плиты, и обхватил её за ногу.

— Ля, — сказал он.

В кухне повисло молчание.

Лина не обернулась. Она мешала суп и чувствовала спиной, как мать смотрит.

— Ты его специально? — сказала Тамара.

— Что?

— Ты его специально к себе приучаешь?

Лина повернулась. Ей было восемь лет и один месяц.

— Мам, — сказала она. — Я его в четыре утра качаю.

— И что?

— Ничего.

Она отвернулась обратно к плите. Мать постояла, потом ушла в комнату и хлопнула дверью, и до утра не выходила.

Ночью Лина лежала и думала: надо было соврать. Надо было сказать: «Нет, мам, он тебя любит больше». И тогда бы она не хлопнула дверью, и утром бы всё было нормально.

Она составила себе правило номер один: правда делает хуже.

Правило номер два она составит через четыре года, и оно будет ещё вреднее.

Девяносто второй и девяносто третий были голодные.

Не голодные в том смысле, в каком голодала баба Шура в сорок седьмом, — с лебедой и опухшими ногами. По-другому: еда была, но её было мало и она была всегда одна и та же.

Картошка своя, с огорода — сорок вёдер, хватало до мая. Капуста своя. Морковь, свёкла, лук. Банки с огурцами в погребе. Мука по талонам. Сахар по талонам, по килограмму на человека в месяц. Молоко брали у Пироговых, у них была корова.

Мясо было по воскресеньям, и это не была фигура речи: это было буквально по воскресеньям.

Лина научилась готовить в восемь лет.

Не потому, что её учили, а потому, что однажды в полпятого вечера выяснилось, что баба Шура ушла к соседке и не вернулась, мать на смене, а Славик орёт от голода.

Она сварила манную кашу.

С комками, жидкую, полусырую — но сварила. И покормила. И вымыла кастрюлю, чтобы никто не узнал, что она подходила к плите без взрослых.

К девяти годам она умела: суп с вермишелью, кашу любую, картошку жареную и варёную, тесто на оладьи, компот из сухофруктов. К одиннадцати — всё остальное.

Это, кстати, единственный навык из её детства, о котором она потом говорила с удовольствием.

— Я готовлю быстро и много, — говорила она в тридцать девять лет, — и совершенно не умею готовить на двоих. У меня рука поставлена на кастрюлю. Даня смеётся: говорит, ты варишь суп, как будто к нам придёт рота.

Ещё одна вещь из того года.

В ноябре девяносто второго она получила первую в жизни пятёрку с плюсом — за контрольную по математике, единственная в классе.

Нина Аркадьевна написала красным на полях: «Умница!»

Лина несла эту тетрадь домой как икону. Она не бежала, потому что бежать с тетрадью нельзя — помнётся. Она шла двадцать минут и всю дорогу репетировала, как войдёт и как положит её на стол.

Дома была баба Шура и был орущий Славик с температурой.

Она положила тетрадь на стол, взяла ребёнка на руки и пошла качать.

Мать пришла в девятом часу, увидела тетрадь, открыла.

— Молодец, — сказала она и пошла переодеваться.

И всё.

Лина, качая Славика у печи, посмотрела на эту тетрадь на столе и вдруг ясно подумала — ей было восемь лет и девять месяцев:

«Больше не надо».

Не в смысле «не надо учиться» — учиться она продолжала и всю школу отучилась почти на одни пятёрки.

В смысле: больше не надо приносить и показывать.

С этого дня она перестала показывать свои отметки кому бы то ни было. За девять лет школы никто в этом доме не видел ни одной её грамоты, а грамот было одиннадцать.

Все одиннадцать нашлись в две тысячи четырнадцатом году, в той же жестяной коробке из-под чая, куда мать складывала всё, что считала важным.

Все одиннадцать были аккуратно разглажены и сложены по датам.

Ангелина Северцева, тридцати лет, будет сидеть на полу и смотреть на них, и не зная, что с этим делать.

Потому что оказалось, что мать подбирала и хранила каждую — просто ни разу не сказала об этом вслух.

Глава 12. Оля

Ольга родилась двадцать девятого апреля девяносто третьего года, в самую распутицу, когда до роддома везли на тракторе, потому что улицу Заречную развезло так, что «скорая» встала у поворота.

Дядя Коля в тот день был трезвый — последний раз в жизни, как потом шутили на улице. Он сидел в тракторной кабине рядом с водителем Витькой Пироговым, держал жену за руку через окошко и повторял:

— Тома, ты дыши. Дыши, Тома.

— Да дышу я, — сказала Тамара сквозь зубы. — Ты сам не помри.

Лина осталась дома со Славиком. Ей было девять лет два месяца. Бабушка ушла к соседке за телефоном, дед был в сарае.

Она помнила этот вечер странно подробно: как в доме стало необычайно тихо; как Славик, которому было полтора года и семь месяцев, ходил за ней хвостом и повторял «мама где, мама где»; как она посадила его на табурет, дала кружку сладкого чая и сказала:

— Мама в больнице. Она нам сестру привезёт.

— Зацем?

— Не знаю, — честно сказала Лина.

Оля оказалась другой породы, чем Славик. Славик был спокойный, флегматичный, ел и спал. Оля кричала. Она кричала первые четыре месяца жизни примерно по восемь часов в сутки, потому что у неё были колики, а от коликов в девяносто третьем году на улице Заречной помогало одно средство — укропная вода и руки.

Руки были Линыны.

Она носила Олю «столбиком», прижав животом к своему плечу, и ходила. Восемь шагов до угла, восемь обратно. Она знала теперь этот маршрут так, что могла идти с закрытыми глазами, и за годы протоптала в половице у печи светлую полосу — доска в этом месте стёрлась.

Через много лет, когда дом будут продавать, она придет в последний раз и увидит эту полосу. И вот тогда — не на могиле бабушки, не в кабинете психолога, а именно там, над стёртой доской, — с ней случится то, что случится. Но это сорок вторая глава.

А тогда, летом девяносто третьего, всё было так.

— Гель, — говорила мать с порога, скидывая туфли. — Она ела?

— В двенадцать и в четыре.

— Какала?

— Один раз. Нормально.

— Температуру мерил?

— Тридцать шесть и восемь.

— Уроки сделала?

— Сделаю.

— Гель.

— Что?

Мать смотрела на неё пару секунд — уставшая, красивая, в сорочке с чужого плеча, тридцати лет от роду, с двумя младенцами и без будущего.

— Ничего, — говорила она. — Ладно. Молодец.

И это «молодец», сказанное мимоходом, в спину, было той валютой, за которую девятилетняя девочка работала сутками. Она копила эти «молодцы» как фантики. Их было мало. Она помнила каждый.

Летом к ним приехала родня из города — тётка Валентина, мамина двоюродная сестра, женщина громкая и не злая. Она посидела на кухне, посмотрела, как Лина одной рукой качает коляску, а другой чистит картошку, и сказала:

— Тома, ты чего творишь? Она у тебя нянька, что ли?

— Она у меня дочь.

— Дочь? Дочери в девять лет в куклы играют!

Тамара помолчала. Потом сказала — и это была одна из самых страшных фраз, которые Лина слышала в жизни, потому что мать сказала её не со зла, а просто устало, как констатацию:

— Некогда ей в куклы. У неё живые есть.

Тётка Валентина ушла, хлопнув калиткой.

А Лина в тот вечер, уложив обоих, вышла на крыльцо, села на верхнюю ступеньку и посмотрела на берёзы. Было светло, конец июня, комары.

Она не плакала. Она сидела и очень методично, как счёт в тетради, думала:

«У меня живые есть».

И решила, что это, наверное, правда важнее кукол.

И вот тут, ровно в этой точке, в девять лет и четыре месяца, в ней окончательно закрепилось то, что потом тридцать лет будет ломать ей жизнь и одновременно спасать её: идея, что она имеет право на существование ровно настолько, насколько она кому-то нужна.

Юлия Владимировна на одной из последних консультаций скажет ей:

— Ангелина, а если вы вдруг никому не нужны — вы что, исчезаете?

И Лина, сорока лет, ответит не задумываясь:

— Да.

А потом долго будет молчать, потому что услышит себя.

Про то, как она спала в те годы, надо сказать отдельно, потому что это объясняет почти всё, что было с ней потом.

Она не спала целиком ни одной ночи с сентября девяносто первого по август девяносто девятого.

Восемь лет.

Не «плохо спала» и не «мало». Именно так: не было ни одной ночи подряд, без подъёма. Сначала Славик, потом Славик и Оля, потом Оля и Тимур, потом Тимур и Даша.

Организм перестроился под это к десяти годам. Она просыпалась за секунду до того, как ребёнок начинал плакать, — по какому-то предварительному звуку, по вздоху, по шевелению.

Это, кстати, потом не прошло. В двадцать один год, живя одна в четырнадцати метрах в Жижкове, где никто не плакал уже три года, она продолжала просыпаться в три ноль-ноль.

Один раз, в декабре девяносто третьего, она заснула сидя на табурете, держа над плитой ложку.

Она варила кашу и заснула стоя — точнее, сидя, прислонившись к печи, — и очнулась от того, что рука с ложкой опустилась на конфорку.

Ожог был небольшой, на два пальца, но глубокий; шрам остался на всю жизнь — белая блестящая полоска на внешней стороне правой ладони, у основания указательного.

В Праге, в две тысячи одиннадцатом, Даниил Верещагин, травматолог, взял её руку и повернул к свету.

— Это откуда?

— Ожог.

— Я вижу, что ожог. Сколько лет?

— Лет восемнадцать.

— Тебе было девять?

— Девять.

Он держал её руку и молчал.

— Не спрашивай, — сказала она.

— Я и не спрашиваю, — сказал он. — Я просто смотрю.

Оля сказала первое слово в год и два месяца.

Это было в июне девяносто четвёртого. Лина сидела на крыльце и чистила картошку, Оля ползала рядом по доскам.

Она подползла, вцепилась в её колено, подтянулась, встала и сказала совершенно отчётливо:

— Ля.

— Что? — Лина отложила нож.

— Ля! — сказала Оля и засмеялась.

Лина сидела с ножом в руке.

Это было второе «Ля» в её жизни. Сначала Славик, теперь Оля.

Она посмотрела на ребёнка, который держался за её коленку, и почувствовала две вещи одновременно, и обе очень сильно.

Первая была — огромная, разливающаяся, ни на что не похожая радость.

Вторая была — ужас.

Потому что она была на сто процентов уверена, что если мать это услышит, ей за это влетит.

Она подхватила Олю на руки и сказала ей тихо, в ухо, серьёзно, как взрослой:

— Оль. Ты маму зови. Слышишь? Скажи «мама». Ма-ма.

— Ля, — сказала Оля.

— Ма-ма.

— Ля.

Лина вздохнула.

— Ладно, — сказала она. — Только при ней не говори.

Она потом пересказала это Юлии Владимировне, в тридцать девять лет, и сама ужаснулась, услышав себя со стороны.

— Мне было десять, — сказала она. — Я учила годовалого ребёнка скрывать, что он меня любит. Чтобы у матери не болело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.